



**И.Г.Глебова**  
**РУССКИЙ XX ВЕК:**  
**МЕЖДУ СМУТОЙ И ПОРЯДКОМ**  
**СТАТЬЯ 1**

**От революции до сталинского порядка**

Последнее десятилетие XX в. прошло под знаком двух социально-интеллектуальных явлений: утраты и поиска (национальной) идентичности. Следствием антикоммунистической революции, крушения советской государственности, глобальных трансформаций стало опустошение массового сознания, лишение его привычной системы пространственно-временных координат. Обретение себя, установление социокультурной преемственности (территории, населения, языка) требовало ответа на вопросы «кто мы?» и «где мы?» (странно звучащего, но верного по существу), конструирования новых определенностей человека, жизни, страны. Вне этого невозможно установление и поддержание социального порядка, эффективное функционирование и легитимация постсоветской власти.

Национально-государственная идентификация, самопонимание, воплощенная в «национальной идее» (по существу, определяющей прошлое и намечающей очертания будущего) и материализованная в «скрепляющих» социум символах, образах, памятных датах, стала требованием времени. И - свидетельством о нем: идеологическая апелляция, вызов объединяющей социальной идеи - это своеобразный сигнал и проявление общественных изменений. За двенадцать-пятнадцать лет наше общество пережило время революции и вошло в эпоху преодоления «революционного синдрома», вытеснения множественных социальных, культурных травм, им порожденных. Напомню: столь же короткий (с точки зрения длительности Большой Истории) срок потребовался Советской России на «переход» от социальной, национально-государственной катастрофы к «стабилизации», от биологического выживания - к обживанию нового социокультурного пространства. В том, и в другом случае стабилизация была поддержана «вызовом» идей и символов национальной идентичности - «культурной, интегрирующей идентичности, основанной на биологической непрерывности кровного родства, пространственной непрерывности территории и на языковой общности» (1).

Анализируя социополитическое, культурное своеобразие России, Н.Н.Алексеев писал: русская «...история... полна смут... Снимая... с русской истории романтический флер, мы должны сказать, что определяю-

щими силами ее были, с одной стороны, силы, организующие государство, силы порядка, с другой - силы, дезорганизующие, анархические, внешне выражающиеся в различных проявлениях русской смуты...» (2). Поэтому, считал он, нашу историю следует изучать как историю смуты. Мне представляется, что своеобразный ритм русской истории создает чередование, сочетание, сложный синтез двух социальных явлений - Смуты и Порядка. Это определяющие русское мировоззрение образы и в то же время устойчивые элементы нашей жизни. Если Смута - абсолютная, самодостаточная по существу «единица» (образ-понятие), то Порядок предстает как явление функциональное, скорее, подчиненное Смуте. Установление Порядка предполагает подавление социума, сдерживание, укрощение социальной анархии. Русские примиряются с Порядком как с необходимостью - и, с покорностью впрягаясь в жизненное «тягло», ожидают новой Смуты.

Двигатель русской Смуты - стремление к освобождению, схожее по существу с тягой к внешнему распространению в пространстве. Порядок «по-русски» не предусматривает, как на Западе, усовершенствования общественно-политической жизни, ослабления давления государства на общество, его самоорганизации для представления и защиты своих (самых разнообразных) интересов. Назначение Порядка - изживание Смуты, переориентация социума на решение государственных задач и бытовое обустройство. Порядок не предполагает нравственного единения, преодоления насилия, вражды, «узаконения» «разномыслия», установления «взаимной доверенности власти и народа» (Н.Н.Алексеев). И в Смуте, и в Порядке проявляется внутреннее сущностное единство русского социума - власти и народа (социального большинства). Они противостоят тем силам, которые стремятся к расширению личной свободы, торжеству индивидуального начала. Их-то и подавляет коллективная воля, ведущая к Смуте и устанавливающая Порядок. Однако эти силы и стремления проявляются, заявляют о себе в короткие «переходные» периоды - между Смутой и Порядком. Поэтому важно представлять, как осуществляются эти «переходы», каковы причины их «краткости», насколько обоснованы мнения об их неорганичности (или, напротив, соответствии) русской социальности. XX век дает богатые возможности для такого анализа: две Смуты (1917-1921 гг. и 1989-1993 гг.) завершились «переходом» в Порядок - сталинский (эту русскую «классику») и путинский.

Эпоха революции и время порядка (русского аналога европейской «стабильности») породили обеспечивающие их идеи. Революция - универсальный социальный миф, ставший катализатором разрушения старого порядка. В 1917-1921 гг. этот миф нашел свое выражение в идеологии социальной справедливости, равенства, интернационального единства «угнетенных» («обиженных и оскорбленных»). В 1989-1993 гг. - демократии, рынка и всеобщего достатка, единых цивилизационных ценностей. Возникнув в контр-элитной среде, эти идеи были присвоены и использованы политическими группами, ставшими на пике револю-

ции новой властью. Порядок (эпоха завершения, «отката», «контр»-революции) питается идеологией национальной самобытности, достаточности, ядром которой является национально-патриотический миф. При этом не отказывается полностью от революционных идей (социалистического или капиталистического мифа), придавая им утилитарный, подчиненный «отеческим» ценностям и идеалам характер.

Эти центральные идеи, связанные с определенными периодами, проживаемыми обществом, помещены в более широкий исторический контекст. В истории России XIX-XX вв., все еще имеющей как непосредственное, так и опосредованное влияние на современность, выделяются две политические и идеологические силы (тенденции), боровшиеся и в разное время преобладавшие на политической сцене. Условно они могут быть названы революционной (космополитической) и национально(государственно)-патриотической. Каждая из них создала свою конструкцию национальной идентичности - и соответствующую ей форму исторической памяти. Ядро первой составляют идеи революционного обновления, преобразования, освобождения, аккумулирующие разрушительную социальную энергию, пафос отрицания прошлого. Другую определяют национальный патриотизм и религиозное чувство, питающие идею Святой Руси, поддерживающие веру в ее постоянство, вневременную сущность, непрерывность традиции. Обе эти тенденции присутствуют и взаимодействуют в пространстве современности, формируя логику действий и власти, и общества.

Термин «порядок», которым определяется послереволюционное время (в начале или в конце XX в.), очень красноречив. Он указывает, как воспринимается предшествующая эпоха: беспорядок, развал, анархия, хаос (по-русски - Смута). В этом - своеобразие, особенность русской революции. В центре ее - не стремление к политической свободе или преодолению нужды и кричащего неравенства (как на Западе), но освобождение от всех «оков», фундаментальных начал, устанавливающих и регулирующих общественный порядок, всех социальных стабилизаторов (материальных, моральных, культурных). Смута есть расковыривающийся хаос. В ней побеждает безжалостная, слепая стихия разрушения, грозящая самим основам социальной жизни; словно рассасывается - и внезапно исчезает власть (и прежде всего власть высшей концентрации, ее сгусток - верховная). Овладение стихией, подчинение себе энергии этого тотального освобожденческого катаклизма под силу особой «породе» социальных управляющих. В этом-то смысле Смута и противостоит Порядок, предполагающий (в русском варианте) закрепощение, «подмораживание» социального хаоса, создание новых скреп для русского мира. Самостоятельное социальное значение имеют «переходы», связывающие эпохи Смуты и Порядка.

Двадцатые (как и девяностые) годы XX века для России - время преодоления непосредственных последствий Смуты, формирования

основ новой социальной организации, упорядочения (каждой отдельной) жизни. В моменты «переходов», восстановления общественного порядка происходит^ проникновение, вживание в социальную ткань новой власти - за счет целой серии социальных, политических, экономических компромиссов. Идеологию нэпа можно рассматривать как идеологию социального компромисса. Постсоветская властная модель прижилась только благодаря компромиссам основных политических и экономических сил. Пожалуй, компромиссность, взаимное приспособление власти и общества (а не их насилие друг над другом) и есть определяющая черта русских «переходов».

При всем различии социальных условий, политической ситуации в этих «случаях» есть нечто общее - появление социального запроса на компромисс как условие выживания, налаживания жизни в стране. В «режиме» компромисса преодолевались сверхвысокое эмоциональное напряжение (реакция на стремительные перемены, разруху, ожидание быстрого построения «земного рая»), дефицит социального оптимизма, деструктивные настроения. Вектор социального «перехода» определяется качеством, потенциалом власти, а также бродящими в обществе, заряжающими его настроениями. Они либо делают социум легкой добычей власти, либо позволяют ей противостоять, «уходить» от ее давления, утверждать независимое от нее приватное начало.

Эпоха стабилизации связана с торжеством эволюционного начала, относительной «нормализацией» жизни, определяемой пафосом созидания. Это демонстрирует история 1920-х гг. Тогда общество постепенно становилось «управляемым», что ощущали и оно само (добровольно делегируя управленческие права «наверх»), и новая власть, стремившаяся к монополизации социального пространства. В то же время власть и общество отличали слабость и неуверенность. Так, управленческий аппарат был крайне неустойчив, разобщен (в том числе из-за внутривластной борьбы); по духу и стилю (патриархальности, традиционности, неэффективности, хаотичности) соответствовал социальной среде. Власти требовалось время для налаживания инструментов насилия, принуждения, закрепощения, контроля, для собственной консолидации. Этим был вызван ее компромисс с народом (в рамках нэпа), стремление к постоянному мониторингу общественных настроений (3).

При всей сложности, болезненности, неопределенности социально-политической ситуации 20-х годов можно выделить несколько определяющих ее характеристик. Прежде всего это признание власти: по мнению современных исследователей, к середине 20-х в общественном сознании сложился образ коммунистической власти как власти легитимной (а не узурпаторской), «своей» - народной (в отличие от «чужой» - царской), успешной (4). Такое восприятие Советской власти и в городе, и в деревне было вызвано ее победами в гражданской войне, затем - над внутренними «врагами» (партийными оппозиционерами), а также введением нэпа. Альтернативы новой власти не существовало; она доказала свою адаптивность, способность поддерживать некий по-

рядок. Для многих была очевидна ее «природная» связь с прежней властью, традиционными методами государственного управления - при понимании абсолютной новизны, совершенного разрыва с прошлым (5). Письма советских граждан 20-х гг. свидетельствуют: власть для них оставалась властью, какой бы она ни была (6). Отрицательное отношение к власти вообще как силе, противостоящей обществу, подавляющей независимые мнения, грозящей чрезвычайщиной и насилием, было унаследовано от дореволюционных времен и усилено, доведено до предела «беспределом» гражданской войны. Воспринимая представителей власти как детали некой грозной машины, угрожавшей их благополучию, граждане (в большинстве своем) были не склонны к активному протесту, привычно считая себя объектом государственной эксплуатации. Вот характерная фраза из письма советского гражданина - подданного Советской власти: «Мы люди темные, повиноваться должны власти, уж какая она ни есть» (7).

Важным представляется и следующее обстоятельство. Значительные колебания после революции настроений в рабочей среде вызывались (в том числе) явной неустойчивостью власти, ее политической «неопределенностью»; при этом совсем не обязательно, что эти «качества» напрямую отражались на уровне жизни и быте рабочих (8). Слабость, нестабильность власти (ощущавшиеся как безвластие, анархия) вызывали массовые оппозиционные настроения. «С укреплением центральной власти пропадали страхи масс, - писал комиссар Обуховского завода А. Антонов, - и вновь со стороны замечается сочувствие происходящим событиям» (9). По наблюдениям исследователей, и в крестьянской среде относительно спокойный политический «фон» способствовал восприятию ситуации в стране как «нормальной», «обычной» (10). В силе и стабильности власти люди видели ее главные качества, вызывавшие желание с ней солидаризироваться, и необходимые составляющие порядка. Это многое объясняет в дальнейших событиях.

Послереволюционная относительная нормализация (и материализация) жизни при слабости и ограниченности власти сопровождалась усилением рационально-прагматических практик, изживанием обычного («уличного») права, «заземлением» (демифологизацией, утилитаризацией) революционного идеала - свободы (воли) и социальной справедливости. Идеальный образ все больше растворялся в обыденности, тускнел при сопоставлении с личным опытом. Внутренний протест обывателя против «революционного правосознания» и чрезвычайщины вызвал к жизни идеи защиты личных и коллективных прав, требования соблюдать «социалистическую законность»; в обществе утверждался частный (экономический) интерес (11). Новый идеал - стабильности и порядка - связывался людьми с разумностью и привычностью бытового устройства жизни. Потребность физического выживания стимулировала появление элементов (квази)рыночной психологии и поведения, самих «стихийных рыночников» (мешочники - привет из прошлого нашим «челнокам»). «Нэповский переход», когда расширились легаль-

ные возможности для получения более высоких доходов и проявления экономической инициативы, практически демонстрировал приоритетность индивидуальных и групповых интересов и прав над абстракцией «всеобщего блага», рационализировал подход к экономической жизни. Следует отметить, что появление в массовом сознании правовых, «рыночных» идей никак не является свидетельством в пользу демократии, капитализма, рыночного хозяйства (12). Они сочетались с приверженностью советской демократии и социальному государству. Граждане рассматривали закон не столько в качестве регулятора общественных отношений, но преимущественно как способ ограничения произвола власти. Городские и сельские обыватели 20-х годов хотели бы с помощью правовых норм «загнать» власть в некую «резервацию ограничений», оставаясь при этом свободными от личной, гражданской ответственности.

Потенциал плюральности, индивидуализма, правовой и экономической самостоятельности не был реализован, не оформился в значимую социальную тенденцию. Общество 20-х годов отличали политическая апатия, задавленность нуждой, усталостью от ожидания перемен. Оно (в массе своей) не принимало обозначившегося социального расслоения, болезненно реагировало на появление «новых советских», на экономические кризисы и «болезни» нэпа (например, безработицу) (13). Предельная архаизация общественной жизни, нарастание к концу 1920-х настроений революционного радикализма, «социального реванша» и нового передела, помноженные на политическую пассивность и антигражданственность, устойчивое психологическое напряжение, создавали мощный ресурс властной «(контр)революции сверху», торжества идеологии социального (выдержанного в форме классового) насилия. Все это способствовало «национализации» властью человеческого потенциала, подавлению индивидуального начала, установлению порядка через (сверх)насилие, оправданное коллективной волей.

На рубеже 1920-1930-х гг., на «пике» «перехода», власти не удалось примирить или выделить «главные» социальные настроения, консолидировав лояльные ей силы. Однако она сумела использовать весь сплав противоречивых до парадоксальности, неустойчивых желаний, мотивов, рационализированных и утопичных жизненных схем, подчинив себе социум. Победа власти была возможна только в «примитивном» обществе, в котором материальный базис совершенно поглощен «надстройкой». В том обществе произошла минимизация материи и материального, элементаризация потребностей и запросов; оно ощущало недостаток всего и во всем. Это рождало и поддерживало «плохое» самочувствие разных групп населения - социальное напряжение, разочарование, неуверенность и неудовлетворенность, агрессивность и озлобленность. В обществе возникала непреодолимая тяга к тому (конкретному человеку - «сильной руке», какому-то институту), что способно обеспечить и гарантировать необходимый жизненный минимум. Большинство граждан хотело бы устранить социальное искушение

(всем явленное достаток-богатство), рождавшее неудовлетворение и ощущение собственной неполноценности, т. е. уравнивать всех в бедности.

Следствием «разрухи» и всеобщего материального дефицита (его «отголосками» пронизана советская эпоха) стала социальная примитивизация. Благодаря исследованиям 90-х гг. установлено: во время революции и гражданской войны русская деревня восстановила и укрепила свою патриархальную внутреннюю целостность; произошла своеобразная «архаизация» сельского мира. В этом исследователи видят защитную реакцию аграрного социума против революционного распада и разрушения (14). Скорее, то была защита от усложнения общественной жизни, вызванной модернизацией конца XIX - начала XX в., - и одна из глобальных причин «освобожденческого катаклизма» 1917-1921 гг. (15). Кстати, «общинная психоментальность» определяла и сознание рабочих, а революция только усилила подобие «рабочего класса» «квазиобщинному социуму» (16).

Упрощение жизни, натурализация хозяйства, всеобщее распространение общинной идеологии определяли социальный климат, задавали определенный вектор «переходу». Вот как характеризуется «массовая идеология» 20-х годов: «Сила эгалитарных представлений о справедливости в обществе была такова, что классовое насилие как наиболее быстрый и радикальный метод имущественного уравнивания виделось очень многим как не просто приемлемый, но и желательный путь построения справедливого общества... Общество, казалось, все время находилось в погоне за ускользающим социальным идеалом, что делало возможным отбрасывание политики компромисса, свертывание нэпа и переход к очередному витку классового насилия - вновь под лозунгами свободы и справедливости... Опасения в связи с возможностью нового витка чрезвычайщины постепенно трансформировались в его же нетерпеливое ожидание... Для многих людей представления о приоритете закона, о желательности правового и компромиссного способа разрешения многочисленных противоречий отступают перед ожиданием «большого скачка». Нежелание понять и принять всю сложность общественной жизни приводит к одобрению в общественном сознании легких и простых решений, полностью выходящих за рамки представлений о гражданской конституционности» (17).

Конечно, в 20-е гг. власть консолидировала и инициировала, придала особую напряженность (силу «излучения» и заражения) этим настроениям, используя информационно-символический ресурс. С ее усилиями связана абсолютизация в обществе синдрома «обманутых надежд», комплекса «социального реванша», «передельных» настроений. Однако именно «захват» общества идеологией и этикой выживания, поглощенность патриархально-архаическим и радикально-революционным, наряду с диктатом традиции, отдавали его в руки власти. Великое освобождение стало залогом (и прологом) великого закрепощения. Его идея была заложена в новом (символическом, материализо-

вавшемся в политике и социальной жизни) «договоре», который заключили народ и власть на рубеже 1920-1930-х гг.

Новый советский порядок создавался за счет ликвидации компромисса как способа разрешения социальных конфликтов - и установления единства бескомпромиссной власти и не нуждавшегося в компромиссах народа. «Подлежавшие уничтожению» компромисс и право на противоречия, конфликты, примирения (формально-правовым, договорным, а не силовым путем) в социальной жизни были разменены на народный идеал Правды-воли и социальной справедливости. Он предполагал «поравнение» и насилие - однако осуществлявшееся не народом (в революционном порыве), а властью «в интересах народа»: его минимальной, но гарантированной властью обеспеченности и защищенности. Поэтому насилие, с народной точки зрения, выглядело справедливым и оправданным. Народ, таким образом, «подписался» на соучастие в нарушении властью всех и всяких законов, норм, идеалов, связей, традиций. Он становился соучастником в главном преступлении русской власти XX века - против самого же себя. Поэтому вместе с ней не признаёт (и не признает) своей преступности. Поэтому так иступленно и верил символу и воплощению своего «сговора» с властью - И.В.Сталину.

Советская власть в конце 20-х гг. уже была готова «взять в руки» общество-народ-страну, упорядочить и «справедливо уравнивать» всех и все по своему образцу. Качество той власти, оправой, формой, выражением и средой существования которой была партия, гарантировало успех принятой на себя миссии. То была власть, стремившаяся к абсолюту, поглощению, растворению, переработке в себе всего «социального», что было ей доступно. Целью партии-власти была сама власть, а не те преимущества, возможности, которые она открывала. Поэтому вне власти не могла реализоваться, проявить себя в полной мере «партия нового типа». Власть для нее, как показала история, не была способом, инструментом осуществления идеи, но сама идея оказалась подчинена власти.

В этом коренное отличие власти советской от постсоветской. Современная власть, все больше пугающая в последние годы общество «призраком коммунизма», по существу не такова. Ей потребна не власть вообще, а власть «конкретно» - постольку, поскольку она позволяет решать передельные, контрольно-распределительные задачи. Советскую власть питало, давало силы насыщение самой властью, поэтому она - субстанциальна. Постсоветскую - насыщение «материей», потому она - функциональна. И не отягощена мессианскими, глобальными социальными задачами - или необходимостью решения значимых социальных проблем. Она сосредоточена на себе, тогда как советская власть была нацелена на социум, ею захваченный. Для жизнедеятельности современной власти достаточно ограниченного социального



пространства - только с ним связаны ее претензии на монополию. Даже формулирование ею общесоциальной положительной программы (восстановления, обустройства страны) не меняет ее внутренней определенности. И в этом смысле мы являемся свидетелями не возрождения, а вырождения русской власти.

Действия советской власти не определялись исключительно задачами момента (удержаться, победить в гражданской войне, успокоить народ). Тотальное закрепощение страны нельзя объяснить ни необходимостью «раздуть мировой пожар», ни построить социализм в «одной, отдельно взятой...». Логика партиивласти определялась ее природой. Она же требовала себе особых людей, способных ее выразить, творить социум в соответствии с ее волей. Н.А.Бердяев так характеризовал «новый коммунистический тип», победивший в революции начала XX века: «мотивы силы и власти вытеснили» в нем «старые мотивы правдолюбия и сострадательности»; «выработалась жесткость, переходящая в жестокость»; этот тип практиковал «методическое насилие», не задумываясь о морали (18). В том, что «народные массы были дисциплинированы и организованы в стихии русской революции через коммунистическую идею, через коммунистическую символику», приспособленные «к русским традициям и инстинкту народа», мыслитель видел «бесспорную заслугу коммунизма перед русским государством» (19).

Два главных человека, через которых миру была явлена русская власть в своем «предельном» образе - Ленин и Сталин. Это неразделимое единство, слитые воедино наследник и учитель, идеолог и практик, родоначальник и преемник. Они выделили властный концентрат, власть в чистом виде (абсолютную и всепоглощающую), от которой затем питались все их наследники-продолжатели. При этом они аккумулировали в себе грандиозную энергию социального взрыва - Революции-Смуты. И тот и другой не были «связаны» борьбой двух «начал» - партии и власти. Они сами были «партией-властью». Каждый из них рожден потребностями своего времени: захвата и удержания власти (через разрушение), захвата и удержания народа (через разрушение-созидание). Ленин - идеал партийного вождя, отвечающий потребностям революции; Сталин - народного, «назначенного» создать порядок. Они и выработали систему - советско-партийно-народный строй, способный к саморегуляции, самовоспроизводству, но не выдержавший прививки демократии и рынка на западный манер (или мутировавший от их внедрения; и то и другое одинаково верно). Они же отражали и формировали природу большевизма - воплощения русской революционной традиции, ее политической культуры.

Сталин - одновременно и идеальный «наследник» Ленина, и антипод. (Этот вариант повторился в «постсоветском проекте»: Путин - в той же мере преемник Ельцина, сколь и его отрицание. Это и сделало возможным наследование власти в демократическом формате.) Сталин - и законный наследник, и самозванец, узурпировавший власть, в одном лице; и продолжатель «дела Ленина», и его разрушитель. Устано-

вив монополию власти-партии, он нарушил неустойчивый баланс между «самодержавием партии» и самодержавием лица, ее олицетворявшего и представлявшего (между принципом коллективного руководства и единодержавием). В сталинской системе источником всего и вся - и для партии, и для страны - становился народный вождь. В логике этой системы производилась реорганизация («перестройка») партии, госаппарата.

При Сталине «партия старой власти» («ленинская гвардия», партия революции, вся - яркость, сила, наступательный порыв) была уничтожена «партией новой власти». Ее составляли сталинские выдвиженцы и назначенцы, люди вождя, винтики большой машины - технократы, деспотические менеджеры. Шила Фитцпатрик считает, что с середины 30-х гг. Сталин видел в своих кадрах уже не столько революционеров, сколько **хозяев** (bosses), и даже будто бы есть свидетельства, что эти старые кадры были для него чем-то вроде **бояр**. И он полагал, что их нужно уничтожить (как это сделал Иван Грозный) и создать на их месте новое служилое дворянство (20). Р.Суни также свидетельствует: «Шло воспитание деспотического менеджера - не лидера, а **правителя** (ruler). Как говорил Каганович, «когда директор появляется на фабрике, земля должна дрожать» (21). Н.А.Бердяев же считал, что большевики сформировали новый тип русского человека - «военно-спортивный». И полагал: этот тип обеспечит России существование в мире жесточайшей конкуренции.

Сталин из партийного беспорядка (смуты) сотворил порядок - монолит, единую волю, мощный разрушительно-созидательный механизм. Организация профессиональных революционеров была уничтожена; герои революции и гражданской войны ушли в небытие (в прямом смысле слова: были стерты из жизни и народной памяти), а вместе с ними - претензии на независимость, самостоятельность (в рамках партии), «удельщину» и «местничество», клановость по принципу фронтового (а также эмигрантского, подпольного) военизированного братства. Интересно, что партийная оппозиция (и сталинских, и ленинских времен) определялась по удельно-клановому принципу, а организовывалась и действовала как революционное подполье. Публичность не была органична партии; и в этом смысле она - отражение («тень») старой власти.

Система партийно-управленческих (формальных и чрезвычайных) структур, не связанных с конкретными социальными, национальными, групповыми интересами, стала той средой, в которую был помещен народ. В сталинской «партии порядка» мы можем обнаружить лишь иерархию номенклатурно-профессиональных интересов. В ее рамках была организована партийная система «кормлений»: аппарат «кормился» за счет населения, объем «корма» распределялся в соответствии с местом в номенклатурной иерархии (22). Условием «дачи» «кормления» была обязательная служба, которая со временем смягчалась. После войны центр тяжести в деятельности номенклатуры переме-

щался от обязанностей к правам-привилегиям (в соответствии с изменением партийной политики: от репрессий - к политике «поощрения» парткадров). Советское «служилое сословие» формировалось на основании сложного сочетания московского местничества («родовой» принадлежности к номенклатуре, «правильности» происхождения) и петровской «выслуги». Усилиями партии-государства страна превратилась в «место лишения свободы»; и сама партийно-государственная система - не исключение.

То была в полной мере общенародная партия - наш вариант «плавильного котла» (символично, что именно так о ней 18 ноября 2004 г., в интервью крупнейшим российским телеканалам, вспомнил В.В.Путин). Будучи сама сплавлена в монолит, она создавала и народное единство, перемалывая, не давая оформиться, определиться, выявиться разным общественным интересам. Партии-монолиту соответствовал народ-монолит - социум, лишенный независимых, индивидуальных форм социальных отношений, возможностей самовыражения, скованный «главным террористом» - государством (партией-властью) – иерархизированной системой наказаний-страхов-дефицитов-привилегий. Высшей целью власти было искоренение индивидуальности, создание общества без человека. То есть в своем идеальном замысле «советский народ» - бесчеловечное общество в прямом смысле слова (рождение человека, независимой от власти личности, а вместе с ней автономных форм жизни, социальных связей, инициатив могло разрушить все это единство и само «социалистическое» общество).

Единое социальное здание венчала («крышуя» эту «сталинскую высотку») «обще-народная» (верховная) власть - над- и вне-сословная, классовая, национальная «монархия» (воплощенный идеал «монархии трудящихся»). Она претендовала на то, чтобы выражать все (а не узкоклассовые или обще-интернациональные) интересы народа, руководить и направлять социалистическое строительство (советский аналог мирной трудовой жизни). Таким образом власть и человек, ее представлявший и воплощавший, сливались с судьбой страны.

И в этом коренное отличие власти ленинской от сталинской. При всей противоречивости, изменчивости программы и действий В.И.Ленина очевидна его устремленность к воплощению на практике идеального социального проекта. Крах (по существу) его попытки, перерождение идеи (23) подтверждали ограниченность возможностей власти, ее зависимость от господствующих в обществе ценностей. Сталинская власть стала безграничной из-за того, что воспринималась как народная и (отчасти) была таковой. Сталина и «его людей»-выдвиженцев выплеснула наверх народная гуща; они в определенном смысле соответствовали народному властному идеалу. «Народная» власть, установившая гармонию разных интересов через ликвидацию самих интересов и их носителей, воспринималась как высшее благо, гарант одного (общего, народного) интереса, защитник от всех жизненных угроз. Эта (верховная) власть стояла над государством, даже над партией, будучи связана

только с народом. С ее обретением завершалась Смута - наступал покой, порядок. Не как всеобщее согласие, но - отказ от несогласия с властью через подчинение и насилие. «Люди стремились к порядку в исторически известных им формах, к крепостничеству», - писал А.С.Ахиезер (24). Порядок тоже требовал жертв - уже не революции, а «интересам народа». Сами интересы определяла «крепко стоящая за народ» власть.

На формирование «нерушимого единства» одной власти-одной партии-одного народа ушло почти десять лет. В 1934-1936 гг. сталинский порядок был установлен; его закрепили сталинская конституция и 1937 год. А основой стала сталинская «властная вертикаль» - инструмент разрешения «по-русски» (т. е. «минимизации», уничтожения) социальных противоречий, конфликтов, кризисов (предотвращения Смуты, в конечном счете). Она же служила задачам построения нового, современного общества - за счет ликвидации связи, устоев, ценностей (форм социальной организации), скреплявших и поддерживавших патриархально-архаичное; внедрения современных технологий, научных достижений, технических инноваций. Таким образом, торжество, казалось бы, мира русской архаики, стало прологом его уничтожения «народной» властью, призванной в качестве защитника от новизны, усложнения жизни (в той же мере, что от анархии). «Народно-патриархальная монархия», используя народные идеалы, господствующие в обществе настроения, служила только самой себе. И в тоже время, сама, будучи несвоевременной, архаичной (т. е. народной), не только насаждала современность, но и культивировала архаику (в экономике, политике, культурной среде).

«Крах царской власти в 1917 году был в глазах народа не гибелью особой формы государственности, которую народ хотел заменить другой, например, монархию республикой, - отмечает А.С.Ахиезер, - а крахом государственности вообще, результатом стремления... разметать всякое начальство и всякую власть... Советская власть могла восстановить государственность лишь стихийно» (25). В 20-е годы шел во многом стихийный, «животный процесс восстановления органических государственных тканей». Его инициировала власть, но и общество «соглашалось» на усиление государства, осознавая большую целесообразность и «правильность» государственного порядка для удовлетворения собственных растущих потребностей.

Рост массового согласия на сильную центральную власть придавал новый импульс экспансии государства при Сталине. Центр тяжести власти на рубеже 20-30-х годов переместился от «местной» (в том числе национальной) к «высшей», верховной. Русский политический идеал народовластия в форме Советов реализовался на практике в диктатуре власти, воплощенной в партийно-государственных (слитых, не подлежащих делению) формах. Государственное строительство было подчинено нескольким универсальным, носящим вневременной характер, закономерностям. В русской традиции - разрешать конфликты не посред-

ством урегулирования противоречий различных интересов, а путем принуждения, с помощью слаженно действующего (пользуясь ленинской терминологией, «с правильностью часового механизма») аппарата.

«Планомерную государственную организацию» (Ленин) направляет полицейская и военная логика, предполагающая подавление (в той или иной степени, теми или иными средствами) потенциально разрушительных (с точки зрения власти) сил ради обеспечения социального мира - точнее, для предотвращения новой Смуты (26). Для партийно-государственной системы главную проблему составляет обеспечение единства, а не инструментальной многофункциональности. В сталинской «вертикали» оно приняло крайние формы. «Новые государственники» и здесь пытались изваять «монолит», нерушимое единство - в принудительном, насильственном порядке. Высшее руководство «закрепощалось в первую очередь... Сложилась особая этика беспрекословного подчинения указаниям партии и самоотверженной работы... во имя общего блага... Закрепощение распространилось на весь партийный и государственный аппарат» (27). И, наконец, такая система требовала предельной унификации.

В декабре 1931 г. в интервью немецкому писателю Э.Людвигу, автору биографий великих людей, И.В.Сталин сказал: «Задачей, которой я посвящаю свою жизнь, ...является... укрепление государства социалистического, и значит - интернационального» (28). О том, что большевики неизбежно должны будут укреплять государство (добиваясь единства партии), много писали русские эмигранты. В государственном строительстве они видели историческую миссию и оправдание большевизма, гарантию его перерождения - отторжения им интернационально-социалистической идеи в пользу национал-социализма (29). К примеру, Н.А.Бердяев указывал: «...большевизм есть третье явление русской великодержавности, русского империализма... Большевизм - за сильное централизованное государство. Произошло соединение воли к социальной правде с волей к государственному могуществу, и вторая воля оказалась сильнее» (30). Государственная логика (точнее, логика государственников) столь же неизбежно, считали они, приведет большевиков к «освобождению от наносных интернациональных идей» (Н.Устрялов), от пренебрежения тем, что они считали «ложно-патриотическими и национальными предрассудками».. А значит, к торжеству самобытности, национального духа, русского национализма в качестве «положительной» программы. Иными, словами, русские эмигранты-«патриоты» предполагали перерождение Советской России в национал-социальное государство - и такая тенденция в 20-е годы просматривалась.

Эпоха установления сталинского порядка неизбежно ставила на очередь, актуализировала проблему идентификационную, требовала «установления» нового социума в пространственно-временном, соци-

окультурном отношении. Большинство современных исследователей определяют советскую идентичность через национальное. В зарубежной науке устойчиво мнение: сталинская концепция «построения социализма в одной стране» и практика индустриализации отражали возврат большевистского руководства к «ценностям русского национализма» (31). Это демонстрируют и недавние работы, в которых трансформация идеологии и практики режима в направлении «национал-большевизма» (термин М.Рютина) связывается со становлением культа личности, а также - с «...развитием государственно-ориентированной патриотической идеологии, напоминавшей великодержавие и «руссо-центристские традиции» царской эпохи» (32). Для отечественных исследований характерен тот же национал-центричный взгляд: с середины 20-х годов в теории и практике большевизма все более отчетливо выявляется роль «старых национальных интересов», постепенное возобладание «преемственности» над сдвигами» (33). В современной политологической литературе зафиксирована близкая точка зрения: «Большевистская идеология при Сталине дополнилась... немаловажным положением, связанным с опорой на русские национальные традиции. Произошло своего рода сращивание левых лозунгов с идеей государственного патриотизма при соответствующем отходе от планов мировой революции, для которых СССР должен был бы служить лишь стартовой площадкой» (34).

Однако, как представляется, вопрос о природе советской идентичности, новой «национальной» идее (как способе интерпретации идентичности) и ее связи со «старой» (русской) нуждается в уточнении, более детальном рассмотрении. В начале 30-х годов в идеологии и практике большевизма, как и в народной «картине мира», действительно произошел крутой поворот от революционного мифа к идее национальной самобытности. И это закономерно. Смута выбивает из народного сознания национальное, патриотическое (что само по себе ставит под сомнение значение для народа этой ценности). В 1917-1918 годов русские открыли фронт, сдали страну немцам. В конце XX века вновь произошел крах национал-патриотической идеи, долгие годы поддерживавшейся советской системой «патриотического воспитания трудящихся». Цельность страны и ее «военно-революционные» завоевания столь же легко и Стремительно, как в начале столетия, были сданы под обещание нового, капиталистического, социального рая. Времена изживания («выдавливания из себя по капле») национального самоощущения получали в эпохи Порядка статус национально-исторической травмы. С ее преодолением и связан Порядок: укрепление власти, обустройство страны, приостановка распространения во-вне должны поддерживаться символами внутренней укорененности. В 30-е годы «идея коммунистической революции, - бродячий детерриториализирующий призрак, который неотступно преследовал Европу и мир..., была, в конце концов, превращена в ретерриториализирующий режим национального суверенитета» (35).

Разрушение (избавление социума от «корней» и сознания единства) или конструирование (возвращение чувства сопричастности определенным территории, языку, культуре) идентичности требует обращения к прошлому: идентичность возникает и поддерживается как некое чувство принадлежности, сопричастности к историческому наследию. Революционный вызов прошлого не предполагает его научного исследования. Прошлое было затребовано революцией для решения конкретных задач «современного момента» - его «присвоение» политикой неизбежно. Революция произвела операцию по разрушению (критике, отрицанию, обличению и изгнанию) прошлого, исторических традиций, социокультурной преемственности. Тем самым она утверждала - во времени и пространстве - новизну преобразенной ею страны, ее право быть ни на кого не похожей (и, в первую очередь, на себя прежнюю). Прошлое легитимировало новый режим, а главное - сам социальный беспорядок, Смуту, неожиданное (для всех) уничтожение (объявленного аморальным, обреченным, не имевшим права на существование) Старого порядка, его веры, устоев, истин, героев, символов. Ликвидация идентичности, социального единства, в конечном счете, настраивало социум на противостояние, гражданскую войну.

Анархическая стихия Смуты в начале XX в. отменяла никому не нужное, «чуждое» прошлое. С ним себя связывали (и его оставляли в своей жизни) только «враги революции» - эмигранты, контрреволюционеры, «лишенцы», «пораженные в правах». Их прошлое перешло в Советской России на «нелегальное положение». М.Н.Покровский, выступая на I конференции историков-марксистов, назвал «термин «русская история» «термином контрреволюционным» (36). Он считал его таким же избыточным для пролетариата, как и понятие отечества; Покровскому одинаково «не симпатичными» представлялись понятия «патриотизм» и «национализм» (37). Пролетарий не должен был мыслить в таких категориях. Для того, чтобы помочь ему развиваться в «верном направлении», русскую историю изъяли из преподавания, заменив ее историей революционного движения. Школа, по замыслам педагогов-марксистов, призвалась воспитывать не «русского ребенка, ребенка русского государства» и не «для защиты родины», а «гражданина мира, интернационалиста», способного «драться за мировую революцию», за «всемирные идеалы» (38).

Целью «массового социалистического воспитания» объявлялась выработка (извне, усилиями «профессионалов-революционеров») «социалистической сознательности», «реорганизация человека» (точнее, «ковка нового человека») (39). Для этого использовалось прошлое, функциональное значение которого неоднократно подчеркивалось М.Н.Покровским: «История не есть самодовлеющая задача, история - величайшее орудие политической борьбы, другого смысла история не имеет» (40). В этом смысле историк, как и любой «человек науки», «работник искусства», становился «психоинженером», «психо-конструктором» (41). Он призывался партией воспитывать «революционные

чувства» («бить по чувствам», по выражению Н.К.Крупской), чтобы разорвать связь с прошлым, лишить массу эмоциональной зависимости от него.

В 1930 г. «великий пролетарский писатель» М.Горький отмечал: «Растут дети, для которых наше дореволюционное прошлое со всеми его грязными и подлыми уродствами будет знакомо только по книгам, как печальная и фантастическая нелепая сказка» (42). Тот же М.Н.Покровский следующим образом характеризовал революционную «политику памяти»: «Ведь нельзя же так, как у нас: некоторые хотят сделать из города Москвы музей старых зданий... Нельзя же так. Вот точно так же и в истории, - кого-то нужно выселить оттуда, выселить излишние персонажи, которые теперь совершенно не нужны. Так что, конечно, целым рядом этих исторических персонажей придется пожертвовать, но наиболее махровые, колоритные останутся, но останутся в надлежащем освещении» (43).

Это credo русских в отношении «историко-культурного» (и любого другого) «наследия»: не просто отрицание или акцентирование преемственности (восприятие прошлого, исторического опыта по типу наследования), но эксплуатация «наследия» - его подчинение, использование или отбрасывание в зависимости от актуальных задач текущего момента. Таково отношение Сталина к ленинскому наследию, его преемников - к сталинскому, Ельцина - к горбачевскому, Путина - к ельцинскому. И, более того, большевиков - к дореволюционному, «антибольшевиков» - к коммунистическому. Исторически русские (подданные империи, граждане СССР и РФ), могут принимать разные социально-политические формы; сочетать, совмещать несовместимые опыт, практики - быть (последовательно или в одно и то же время) и рыночниками, и антирыночниками, сторонниками свободы слова и ее противниками, хулителями Ленина и его поклонниками. Ценность любого «наследия» (даже будучи определена в формально-правовом «формате») не постоянна, зависима от ситуации и конкретных людей. Всё абсолютно функционально, подчинено «текучке», а потому легковесно, подвержено разрушению при минимальном внешнем вторжении. В этом - наша сила, но и слабость; объяснение неспособности выработать какие-то устойчивые, долговременные социально-политические формы, «балансировки» и «предохранители» для функционирующей системы (социалистической или капиталистической).

В соответствии с установкой М.Н.Покровского (а он, безусловно, отражал, следовал, формировал «линию партии» - и, как все, «колебался» вместе с ней), из русской истории выбрасывались целые пласты (например, ближайшее дореволюционное прошлое - эпоха Николая II, почти весь XIX век), изымались исторические герои-образцы для подражания. Для этого (впервые в таком масштабе) применялся весь-арсенал очернительства, разоблачительства. Вот как, например, характеризовалось дореволюционное представительное учреждение: «В прежние годы на Руси существовала Государственная дума – недоношенный



ублюдочный парламент» (44). Все партии (кроме большевистской) квалифицировались как «ренегаты», «соглашатели», «лакеи буржуазии», «прихвостни», а, в лучшем случае, - «почти-марксисты», «якобы-ученые», «тоже-социалисты». В результате сам термин «партия» стал ассоциироваться исключительно с «родной» коммунистической (видимо, еще и поэтому в начале 90-х годов граждане голосовали не за конкретные партии, а за демократов-реформаторов вообще). Первая мировая война представлялась сплошной цепью поражений русской армии. И в дальнейшем все победы русского оружия связывались в основном с древностью и с XVIII - началом XIX в.

А вот один из стихотворных «шедевров» начала 30-х гг., предназначенных «подрастающему поколению» - «вводная» к школьной экскурсии по Ипатьевскому дому (45):

Ты можешь быть сердцем спокоен,  
Иди, любопытствуй, глазами:  
Здесь были монаршьи покои,  
А ныне - рабочий музей.  
Смотрите и радуйтесь, дети,  
Запомните: Этот подвал  
Могилой державных столетий,  
Ступенью в грядущее стал.

Все представители «старой» власти «уполномоченными» новой оценивались сверхкритически. Будущие «сталинские» идеальные князья, цари, императоры в 20-е - начале 30-х годов представлялись «идеологически чуждыми» революционному народу. Вот, например, портрет Александра Невского, данный в Малой советской энциклопедии: «княжил в Новгороде, оказал ценные услуги новгородскому капиталу, победоносно отстоял для него побережье Финского залива. В 1252 году достает себе в Орде ярлык на великое княжение. Александр умело улаживал столкновения русских феодалов с ханом и подавлял волнения русского населения, протестовавшего против тяжелой дани татарам».

Не было у первых советских историков снисхождения и к безусловным, казалось бы, народным героям. Гражданин Минин и князь Пожарский оценивались так: «Защита родины и защита своей мощны у этих людей, как у буржуазии всех времен, сливалась... в одно» (46). Оценка знаменитых полководцев Кутузова и Багратиона чрезвычайно занижена относительно той, что им «выставил» Наполеон: она сочеталась с обвинением их в трусости и бездарности (47). А вот Луначарский о русских гениях - Пушкине, Гоголе, Достоевском, Толстом (1924 г.): «Если... всё же они остались велики, то вопреки этой проклятой старой России, и все, что в них есть пошлого, ложного, недоделанного, слабого, всё это дала им она» (48). Или еще более «доходчивое» обращение - к молодому поколению: «Память Достоевского-публициста пусть чтут живые

кликушествующие остатки внешней и внутренней эмиграции, и совершенно никчемное занятие - упорно выискивать в гуще написанного им мистического бреда крупницы почти «либеральных» замечаний и даже «революционных пророчеств» (49).

На фоне отказа от русского культурно-исторического наследия в целом, особенно интересны попытки новой взбунтовавшейся, неустоявшейся социальности найти свою связь с прошлым. Революционные лидеры предлагали ассоциировать себя не с русской, с общечеловеческой историей, представленной как цепь великих революций: 1793 г., 1848 г., 1871 г. и, наконец, русских-1905 и 1917 годов. До 1905 г., писал Л.Д.Троцкий, «...наша история не знала революции. У нас были жестокие мужицкие «бунты» как разинщина и пугачевщина» (50). Все остальное - темная, бессмысленная, «...бесконечная вереница годов, лишенная лица и образа» (51). Недаром с февраля 17-го года прошлое обозначалось как «темное», «проклятое», «рабское». В этой логике формировалась революционная символика, красный календарь: Кровавое воскресенье (9/22 января), День Парижской Коммуны (19 марта), День Красной Армии (23 февраля), Память Июльских (1917 г.) дней (3-16 июля), Октябрьская годовщина (7 ноября), День памяти К.Либкнехта и Р.Люксембург (17 января), Приезд В.И.Ленина в Петроград (16 апреля), День памяти Московского вооруженного восстания (22 декабря), 1 Мая (52). Установочной датой этого космополитического, «социального ориентированного» и трагического (не праздничного, а памятного, мемориального) календаря был, конечно, Октябрь 17-го. Но и он выводился из общемировой революционной истории (как Новый завет - из Ветхого). «Октябрь - наследник Парижской коммуны и продолжатель начатого ею дела», - постулировалось для масс (53).

К «религиозному наследию» большевики подошли особенно серьезно. При общем сложном к нему отношении (сначала разрушение, допущение - в войну, затем выделение в «резервацию») очевидно: (духовная) вера отрицалась тотально и независимо от обстоятельств. Ей не было места рядом с верой светской - в идею (при этом она могла быть искренней, со всем энтузиазмом юности, или отличаться лицемерием и здравомыслием «постаревшего» общества). Только идея могла освещать (светскую) власть, рожденную революцией. Вера и ее символы уничтожались не только физически, насилем, но и символически. Народ как бы лишался души - продавал ее за обещание осуществления Царства Божьего на земле. Кому - большевики не скрывали. Известны попытки первых советских лет возвести историю большевизма к Люциферу, Каину, Иуде (существовал даже проект памятника Иуде). Героизировался и возводился в «начало истории» бунт против Бога. Итогом послереволюционных лет и завещанием «будущим поколениям» выглядит Декрет СНК СССР «О безбожной пятилетке» (1932), который предписывалось к 1 мая 1937 г. забыть имя Бога «на всей территории СССР».

Вместе с Богом были официально отменены все религиозные праздники - календарь приобретал исключительно светский характер.

Уничтожили и праздники «бытовые», семейные, связанные с утверждением приватной, частной сферы жизни. Сам «быт» большевики тоже пытались упразднить. Термин «быт» (или заменявшие его в советском словаре «образ жизни», «жизненный уклад») приобрел негативный оттенок - традиционности, привычности, косности (54). Как «глубоко реакционная сила», он нуждался в коренной перестройке. В 20-е годы велась кампания по дискредитации «старого быта» - обычаев, традиций ушедшей, устроенной жизни. Газеты осуждали всё - даже чаепитие с использованием самовара. «До сих пор из провинции приходят анекдоты о партийцах, наслаждающихся канарейкой и шипящим самоваром, - писала «Комсомольская правда» в 1925 г., - этими неизменными атрибутами мещанского счастья» (55). Осуждались русский романс, как «музыкальная самогонка», и народная кадрили - как «придворный танец» (56). В 1928 г. власть инициировала борьбу с Новым годом (а заодно - и с Рождеством), елкой и Дедом Морозом. «Елки сухая розга маячит в глазища нам. / По шапке Деда Мороза, ангела - по зубам!» - писал в «Комсомолку» один из стихотворцев тех времен (57). Традицию предлагалось заменить праздником Зимнего спорта. Материалистический культ (массового) спорта, здорового тела, «правильного» отдыха, шел на смену духовному. Вообще в календаре и светских «обрядках», фиксирующих ценностные приоритеты того (сталинского) и нашего новых обществ, ощущается (тысячекратно пережитое и переработанное) жизнерадостное, примитивизирующее влияние древнего язычества. Это отражение и реакция на примитивизацию и материализацию социальной жизни.

1933-й год, как свидетельствуют центральные советские газеты, - самый «не исторический» из предшествующих лет. Тем неожиданнее изменение ситуации «в области прошлого» в 1934 году. Прошлое возвращалось - в прессу, в школу - вместе с понятиями «Родина», «Отчизна», «Отечество». Кампания по реабилитации прошлого 1934-1936 гг., проводившаяся в преддверие и на фоне Большого террора (некоторые историки даже отмечают ее «компенсаторную» роль), получила форму преодоления «левацких ошибок» М.Н.Покровского. Дело было, конечно, не в Покровском - точнее, не только в нем: историю страны мог определять только один человек - народный вождь, Верховный жрец Учения (определение М.Геллера и А.Некрича). У власти появились новые политические задачи; для их решения оказались необходимы символические инструменты социального «укоренения» (через национальное - т. е. территориальное, государственное; культуру, общую историю) и мобилизации (вызовом патриотизма).

Постоянное подключение прошлого к политике свидетельствует об историзме (очень своеобразно выраженном) нашего политического мировоззрения. И пронизанности политикой всех сфер социальной жизни: все значимые социальные проблемы неизбежно обретают каче-

ство политических. Русская политика имеет еще одно «мистическое» свойство: в некоторые моменты она безмерно расширяется, поглощая все сферы социальной жизни и весь интерес, на который способно массовое сознание; в другие - неожиданно сжимается (часть политического пространства уходит в «тень», укрывается за непубличность).

Ощущение определенности, осознание общности были социально востребованы в начале 30-х годов - для них подошло время. Власть ухватилась за них, использовав общественный запрос; как всегда, приспособлялась ко времени и вела его за собой. По определению М.Хардта и А.Негри, «...сталинская Россия - это идеальный тип преобразования интересов народа и жестокой логики, из них вытекающей, в программу национальной модернизации, мобилизующую в своих собственных целях производительные силы, стремящиеся к освобождению от капитализма» (58). Модернизация обеспечивалась предельно архаичной системой символов, уводившей общество за пределы современности. То была национальная символика, обращенная в прошлое, сквозь призму которой «рассматривалось» настоящее. Ее навязывание обществу имело следствием нарастание архаики в повседневности - и архаизацию образа будущего. Этот центральный коммунистический проект создавался, таким образом, под непосредственным влиянием прошлого, служил его продолжением - отражением.

На фоне «национального возрождения» шло восстановление прошлого, сигнал к началу которого дала власть. «Сталин использует (берет на вооружение) русский национализм, - пишут М.Геллер и А.Некрич, - как он использовал множество других самых различных кирпичей для строительства своей империи. Русский национализм необходим Сталину для легитимизации своей власти. Он не может - возможно, и не хочет — быть наследником революции, разрушающей стихии, в то время, когда он - строит. Он выбирает себе поэтому новую линию предков -русских князей и царей - собирателей и строителей могучего государства. После 1934 года Сталин, а за ним все советские историки, перестают говорить о том, что Россию «все били». Начинают говорить о том, что она всех била... История России, которая после 1917 года пересматривалась с точки зрения классовой борьбы, начинает пересматриваться с точки зрения борьбы за создание сильного государства. В центре остается народ: но у Покровского он хотел освобождения, у Сталина он хочет сильной власти» (59).

С подачи власти заработала индустрия по производству «полезного» прошлого. По интенсивности, эффективности и значению, которое ей придавалось в организации социального пространства, эта деятельность не сравнима ни с чем в дореволюционной истории. Собственно, «революцию в прошлом», сопровождавшую утверждение «сталинского порядка», следовало бы рассматривать в качестве элемента «культурной революции». Она (в том числе) способствовала превращению «инструментов мысли» (науки, творчества) в «инструменты власти». С ее помощью не только создавался «воображаемый мир» прошлого, но

«воображалось» (по образу и подобию вымышленного прошлого) настоящее. Сам образ Порядка моделировался в пространстве символов, а затем обеспечивал практическое осуществление властной операции «Порядок» в реальности.

Укажем на несколько особенностей того образа прошлого, который был создан в 30-е годы. Его основание - патриотизм, который питали традиционные «отеческие» (как ощущение связи с почвой, землей, Родиной-Матерью и Отцом-Прародителем) и социальные (чувство принадлежности к родине социализма - «оплоту интернационального братства трудящихся») корни. Апелляция к ним позволяла добиться единства народа. Через патриотическую идею «народная монархия» (власть надо всем, что ей доступно, без национальных и социальных различий) конструировала свою связь с народом-«труженником» (над- и вне-национальной, конфессиональной общностью). Выражением «народной» (верховой) власти становилось «государство трудящихся», защищавшее общенародные интересы и стремившееся к реализации идеала социальной справедливости. В этой логике воля власти выглядела как отраженная народная воля, существование государства невозможно без народного согласия, а потому сам народ (антигосударственник, бунтарь, «анархист по природе») был заинтересован в единстве власти-государства. Такой идеал власти, ее отношений с народом и материализовался в советском образе прошлого.

Этот образ, безусловно, агрессивен (не только «по содержанию», но и по степени навязчивости), «народно-патриотичен», инструментален (отчетливо связан с задачами политической социализации) и чрезвычайно эмоционален. Он представляет коллективно-общенародное «мы»-прошлое - причем не ближайшее (прошлое «вчерашнего дня», по определению М.Н.Покровского), а отдаленное. В основании образа - противостояние абсолютных начал: добра, воплощенного в образе идеального воина-защитника, и зла, персонифицированного во «враге». Эти идеалы (образы-образцы из мира темных суеверий, жизнерадостного, но лишено моральных императивов язычества) были противоположны христианским, а их внедрение связано с продолжением и углублением смуты нравственной при прекращении политической.

Порядок в прошлом «закреплялся» победой добра над злом. Лишенное всяких недостатков (которые нельзя было бы оправдать необходимостью защиты от зла и победы над ним) добро представлял суровый вождь (князь, царь, император) и стоявшие за него воины-богатыри, сочетавшие физическую силу, милость (не сочувствие и милосердие, а отеческое отношение) к народу, хитрость-коварство к врагам (т. е. государственную мудрость). Их отличала готовность без раздумья отдать жизнь за Родину. Таковы были образы Александра Невского, Петра I. Рефреном звучали призывы из настоящего: «Да здравствует наша великая Родина!.. Наша Родина - Советская земля... За родину социализма надо отдать жизнь...» (60).

«Враг», воплощение тьмы, совершенный злодей, усиливавший безусловность героя, обнаруживался как внутри страны (бояре-«реакционеры», предатели; богачи-толстосумы со всеми возможными нравственными изъянами - в осуждении богатства очевидно влияние христианской этики, приспособленной к классовому противостоянию), так и вне ее. При этом подчеркивалась связь-общность внешнего (явного) и внутреннего (тайного, скрытого) врага, искоренение которого интерпретировалось как народное дело. Важно и то, что христианские образцы обретали «права гражданства» только в отношении народа: ему в идеале полагалось (вменялось в обязанность) быть смиренным, покорным и терпеливым, готовым служить. В безусловном подчинении и состоял его патриотизм, в понимании власти.

Прошлое в такой интерпретации было мало связано с историей, но приобретало служебный характер («прошлое-служебник»). Назначение прошлого - «действительность мечте равнять»: «мечта» из прошлого (как и из будущего) переносилась в настоящее, влияя на его восприятие. Уничтожив героев прошлого (революции, гражданской войны), власть руками «государственных (служилых)» историков создавала для народа новые символы. По их образцу конструировались герои современности; культ «борцов за свободу» сменило почитание «героев народа - Отечества». Готовясь к «народной войне» - внутри и вне страны, власть переносила в настоящее «врагов» из прошлого, делала их узнаваемыми, натравливала на них народ. «Решая» прошлое по типу противостояния, она организовывала, настраивала на конфликт в реальности.

Причем делала это чрезвычайно стремительно, кардинальным образом меняя ориентиры для общества. Особой многозначностью (и широкими возможностями для ре-интерпретации) обладал образ врага. Так, в 1934 г. в обновленном прошлом мгновенно трансформировался образ Германии. В 1920-е годы при объяснении причин Первой мировой войны вся вина историками возлагалась на Россию (война «...непосредственно была спровоцирована русской военной партией»); подчеркивалось «историческое миролюбие» кайзеровской Германии (61). Двадцатилетие начала войны «отпраздновали» оправданием России: в юбилейном номере журнала «Большевик», в газетах Германия теперь называлась «пороховым погребом», угрожавшим взорвать Европу (62). В зависимости от политических задач момента эти оценки менялись и в дальнейшем. Инициативу в создании героев и врагов советского народа власть не уступала никому - и прежде всего самому народу.

Образ советского прошлого был не только предельно милитаризован, перенасыщен образами врага и «сценариями» противостояния. Он формировался вокруг образа «силы» - героя-защитника. В войну героизация прошлого усилилась. Кроме того, в 30-е годы прошлое приобрело сказочные атрибуты. Былинно-сказочные мотивы были одним из знаков того сурового времени, придававших ему социальный опти-

мизм. В соответствии с сюжетами древнерусских былин, народного фольклора строились истории из прошлого, исторические фильмы, музыкальные комедии. Да и собственно фильмы-сказки предназначались не только юному зрителю.

Вместе с атрибутами «карнавала» (или древних русских деревенских игрищ) в жизнь возвращался «быт». Легализовали чаепитие; газета «Комсомольская правда» летом 1934 г. писала: «Тула самовары делать должна» - их «настойчиво требует трудящийся потребитель» (63). В 1935 г. советским гражданам вернули ёлку, Деда Мороза и Снегурочку, но не в качестве «символа чванливой сытости буржуазии», а как «яркое отражение детской радости на фоне счастливой и красивой жизни». Советская власть удовлетворила потребности трудящихся - в счастье и радости, а те ощутили вкус приватной жизни. Тяга к устроенности, защищенности возрождала частный интерес, материальность существования, что создавало барьер между жизнью и властью.

Что же касается получившей «права гражданства» национальной идеи, очевидно: большевики оказались весьма далеки от тех идеалов, которые им приписывали русские патриоты-националисты. Они, действительно, были «способны восстановить русское великодержавие» (Н.Устрялов). «Переход от состояния революции к нормальному государственному состоянию произойдет, - писал он, - не вопреки и против революции, а через неё» (64). Это тоже оправдалось. «Подморозив» (термин К.Леонтьева) послереволюционный социум, Советская власть приступила к выполнению «национальных задач». Однако назвать нормальным новый порядок и использование им «национального мотива» могли только сами большевики. Их национальная практика не имела значения самостоятельного явления, политического принципа - она была полностью подчинена партийно-государственным задачам. «Возрождение» русского национализма в его крайних, худших формах (великодержавного шовинизма) представляло собой апелляцию к темной, некультуренной массе. Оно позволяло власти создать механизмы «выпуска» «социального пара» - в разоблачении и наказании «жидов» и всех «врагов народа», а также в подготовке к защите родного отечества. Мощь мобилизационного потенциала патриотической идеи продемонстрировала война. Национализм был назначен к тому, чтобы «связать» воедино все русское; сделать его ядром новой социальной общности -советского народа. Провоцируя «восстание» русского этнизма, он в тоже время служил канализации социального недовольства и предотвращению смуты. С внешнеполитической точки зрения, патриотизм служил символической «линией обороны» (нематериальным «занавесом»), определял стратегию «национальной защиты» и «национальной экспансии» (т. е. нового этапа распространения во вне).

Инструментализация и откровенно-циничное использование национальной идеи скорее противоречило опыту дореволюционной

России, чем продолжало его. Сама идея подверглась извращению - произошла ее почвенизация, провинциализация, приспособление к русскому общинному мировоззрению. В таком виде она имела очень отдаленное отношение к идеалу Святой Руси, Великой России или к практике русского национализма, в последний раз в империи оживленной П.А.Столыпиным.

В данном случае мы опять имеем дело с эксплуатацией наследия, а не с исторической преемственностью. Или скажем по-другому: эксплуатация и есть русская преемственность. Таким же было отношение к «наследию» и в «национальном вопросе». Для идейных большевиков, ленинцев-сталинцев (и их «продолжателей» - коммунистов и антикоммунистов) сама идея имеет инструментальное значение. Поэтому так легко происходят «подмены значений» (идей, слов, символов) или «размены» идей - на другие, отвечающие «моменту». Национальная идея, потенциал русского национализма (как одной из форм ее реализации) использовались по мере необходимости и так, как это требовалось власти. «Ленинская революция» и «сталинский порядок» не приспособливались к «национальным интересам», изменяясь в соответствии с ними, а приспособливали их к себе, жонглируя, играя ими.

И, наконец, последнее - и самое главное. Восстановление прошлого, «корневых» связей, национального (в своеобразном русском варианте), патриотических настроений, «дарование» гражданам права на какую-то частную жизнь, бытовую устроенность означали только одно. Признание властью, что будущего (в том варианте, в каком оно представлялось марксистам-ленинцам) не будет. Оно невозможно. Идея «строительства социализма в одной, отдельно взятой...» была связана с «урезанием» будущего как реального политического проекта - и возрастанием его значения как проекта идеального. Эмоциональный хрущевский прогноз «на коммунизм» был проживанием исторической трагедии вторично - в качестве фарса. Сталинский порядок (и его «повторение» - брежневское «подмораживание», обернувшееся «застоем») фиксировал: революция закончилась. А вместе с нею - и «самоуправление», то есть ситуация, когда каждый сам собой правит. Власть всем нашли службу и прикрепила к «месту» служения; кого нужно - прикормила, остальных - впрягла в «тягло». Объяснила всё это «народными интересами», оправдала Великой Идеей. И страна зажила заново.

Однако временем подлинного единства, сплочения массы интересов в один общий, массовый интерес (всего советского народа) стала война - священная, народная. Она сбила всех (без различий социальных, национальных, вероисповедальных, по полу и возрасту) в чаемый властью монолит. И этот монолит, на время «снявший» естественную множественность социального (в - единственном за все столетие - успешном рывке к Победе), парадоксальным образом породил личность. Не «нового человека», о котором мечтала коммунистическая система, но



именно - личность, сумевшую преодолеть Большой Страх и «террор массы», стремящуюся к приватности и устроенности жизни. А вместе с ней возрождалась главная проблема для власти, потенциальная угроза ее тотальности (кстати, в смысле тотальности - радикальности, всеохватности, агрессивности - общество соответствовало власти: оно само было таким и в разрушении, и в созидании, а потому - совершенно за пределами «нормы», понимания).

Как часто бывает в истории, воплощение идеала - «монархии трудящихся», ведущей за собой «единый и неделимый» народ, завоевывающей «весь мир», таило в себе силы разрушения. Однако сам факт достижения идеального, «зафиксированный» Великой Победой, превращает войну (величайшее народное бедствие) в безусловную ценность, символ-убежище, до сих пор обладающий энергетикой сплочения и возвышения, поддержания веры в неисчерпаемость народных сил, оправданность существования Народа-Победителя.

Война была временем (коротким, спрессованным, энергетически сверх-насыщенным), когда «русский» социум (подчеркну - не этнос, а над-классовая, вне-этническая общность) решал свою главную задачу -противостояния: обороны («заманивания» - накопления «энергии отдачи»), а затем - броска, расширения, закрепления в новом территориальном, социокультурном пространстве. Это, собственно, и есть способ его самоидентификации, самореализации в пространстве и во времени. Так он обретает субъектность. Задачи внутреннего, «национального» обустройства в этой логике - вторичны, не существенны, а потому наш социум так плохо, неумело, неэффективно с ними справляется. Здесь - и главное самооправдание советской власти, исторический фактор ее легитимации. В этом смысле именно война - точка отсчета новой социальности, новой России XX века. Ее место в нашем прошлом, календаре, картине мира - установочное.

#### **Литература и примечания**

1. Хардт М., Негри А. Империя. М., 2004. С. 107.
2. Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М., 1998. С. 75
3. А.Я.Лившин отмечает: «Сложные изломы и противоречия нэпа вызывали настоятельную необходимость в осуществлении мониторинга общественных настроений. Государство то и дело обращается к редакциям газет или некоторым институтам на местах (например, к Союзцентростату) с просьбой инициировать высказывание мнений через письма по тем или иным вопросам политики с целью отслеживания динамики настроений» (Общественные настроения в Советской России 1917-1929 гг. М., 2004. С. 161).
4. См.: Лившин А.Я. Указ. соч. С. 49-50, 62-63, 264.
5. Шишкин В.А. Власть. Политика, экономика. Послереволюционная Россия (1917-1928). СПб., 1997. С. 54; Лившин А.Я. Указ. соч. С. 56-63.
6. См.: Голос народа: Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918-1932 гг. /Отв. ред. А.К.Соколов. М., 1998. С. 203.

7. См.: *Константинов С.И.* Влияние взаимосвязи мировой и гражданской войн на психологический раскол российского общества // *Человек и война (Война как явление культуры): Сб. ст. М., 2001. С. 185.*
8. См.: *Яров С.В.* Пролетарий как политик: Политическая психология рабочих Петрограда в 1917-1923 гг. СПб., 1999. С. 18-20.
9. Там же. С. 19.
10. *Лившин А.Я.* Указ. соч. С. 260.
11. Такие выводы делают современные исследователи на основании анализа массива писем «во власть» советских граждан 20-х гг. См., например: *Лившин А.Я.* Указ. соч. С. 153, 156, 158-159, 259 и др.
12. См. об этом: *Davies S.* Popular Opinion in Stalin's Russia: Terror, Propaganda and Dissent, 1934-1941. Cambridge, 1997. P. 103-104.
13. См.: *Лившин А.Я.* Указ. соч. С. 134. «Недовольство ходом дел в стране вымывало островки либерального сознания, приводило к тому, что нэп, рынок и частное предпринимательство составляли негативный ассоциативный ряд с бедностью, неравенством, безработицей и даже бюрократизмом (*Квашонкин А.В., Лившин А.Я.* Послереволюционная Россия (проблемы социально-политической истории 1917-1927 гг.). М, 2000. С. 145). Интересно, какой рецепт улучшения жизни предлагали власти простые советские граждане: «...все, что нажито чужим потом и кровью, должно быть отобрано в государство или наложить такой патент, чтобы он не мог богатеть или сделать контроль над кулаками» (там же. С. 208). Идея огосударствления (деприватизации или частичной национализации) частной собственности не чужда и постсоветскому гражданину. Большинство современного российского общества высказывается в пользу рынка и частной собственности. «При более конкретной постановке вопроса неизменно выясняется, что лишь меньшинство соглашается с приватизацией крупной промышленности, банков, транспорта, горнодобывающих предприятий, со свободной куплей-продажей земли. Остальные одобряют лишь введение частной собственности на предприятия розничной торговли и рестораны» (*Дилигенский Г.Г.* «Запад» в российском общественном сознании // *Россия в условиях трансформаций: Историко-политологический семинар. Материалы. Выпуск № 24. М, 2002. С. 59*). Это потенциальная база национальной консолидации и мобилизации в поддержку власти.
14. *Лившин А.Я.* Указ. соч. С. 259-260; *Левин М.* Гражданская война: динамика и наследие // *Гражданская война в России: перекресток мнений. М., 1994. С. 269.*
15. Основываясь на данных разных авторов, *Ю.С.Пивоваров* делает вывод: «...любое усложнение (в смысле: разнообразие, политсубъектность и т. п.) российской социальной жизни ведет к кризису» (Предисловие // *Полная гибель всерьез: Избранные работы. М., 2004. С. 9-15*). По наблюдению *А.С.Ахиезера*, во время гражданской войны «...укрепились формы земледелия, которые еще недавно специалисты называли первобытными... Бедные натуральные хозяйства не ставили своей зада-

чей следовать за растущими потребностями общества, не отличались склонностью к развитию... Деревня всегда, когда не было прямого и настойчивого изъятия натурального продукта, на кризис в обществе отвечала замыканием в себе, отказом от фактически даровой передачи продуктов своего труда городу, государству» (Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). Т. I. 2-е изд., перераб. и доп. Новосибирск, 1997. С. 429).

16. См. об этом: *Булдаков В.П.* Красная смута: Природа и последствия революционного насилия. М., 1997. С. 20, 83.

17. *Лившин А.Я.* Указ. соч. С. 261, 265, 266, 268. В этих условиях «партия-государство шла на реальные уступки массам и удовлетворяла амбиции и надежды многих (хотя и не всех), обеспечивая им социальную мобильность и улучшение жизненных условий. Крестьяне превращались в рабочих, а рабочие - в управленцев или партийных боссов. Они, таким образом, перемещались наверх, тогда как привилегированные группы прошлого, бывшие когда-то объектами их зависти, опускались вниз» (*Суни Р.Г.* Сталин и сталинизм: Власть и авторитет в Советском Союзе, 1930-1953 // Политическая наука, 2000-2001: Коммунизм и национал-социализм: Сравнительный анализ. М., 2000. С. 39).

18. *Бердяев Н.А.* Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 101.

19. Там же. С. 109.

20. См.: *Suny R.G.* Stalin and his Stalinism and authority in the Soviet Union, 1930-53 // *Stalinism and Nazism: Dictatorships in Comparison.* - Cambridge, 1997.-P. 38.

21. *Ibid.*-P. 35.

22. Обращаясь к М.Веберу, можно сказать, что советская бюрократия не была «современной» (modern). «Настоящая бюрократия» обычно оплачивается наличными. В советском случае практиковалась оплата натурой (привилегии и льготы), как в традиционной экономике, ориентированной на элементарное жизнеобеспечение (subsistence economy)» {*Левин М.* Бюрократия и сталинистское государство // Политическая наука, 2000-2001. С. 61).

23. По точному замечанию А.С.Ахиезера, «Ленин шел не от капитализма к послекапиталистическому обществу, а от последовательного, противоречивого подчинения государству всей хозяйственной, политической жизни общества к последовательному, но осложненному попыткой использовать этот порядок для модернизации» (Указ. соч. С. 444).

24. *Ахиезер А.С.* Указ. соч. С. 439. В этой логике объяснима тайна террора: «Не Сталин создал людей, склонных к террору, а миллионы на соответствующем этапе своего развития выделили его из своей среды и сделали кумиром, идолом, который давал внешнюю санкцию собственным ценностям миллионов. За террор несли ответственность все... Террор был поддержан большинством, хотя бы на уровне принципиального согласия» (Там же. С. 539-540).

25. Там же. С. 559.
26. О политических методах царской власти см.: *Пайнс Р.* Россия при старом режиме. М., 1993. С. 367-415 (глава 11 «На пути к полицейскому государству»).
27. *Ахизер А.С.* Указ. соч. С. 439.
28. Цит. по: *Геллер М., Некрич А.* Утопия у власти. М., 2000. С. 250.
29. См. об этом, например: *Геллер М., Некрич А.* Указ. соч. С. 139-145, 174-175.
30. *Бердяев Н.А.* Указ. соч. С. 99.
31. См. об этом, например: *Шишкин В.А.* Указ. соч. С. 81.
32. См.: *Лившин А.Я.* Указ. соч. С. 48.
33. См.: *Шишкин В.А.* Указ. соч. С. 81.
34. Политология: Учебник / Ю.А.Мельвиль и др. М., 2004. С. 492.
35. *Хардт М., Негри А.* Указ. соч. С. 113.
36. *Покровский М.Л.* Историческая наука и борьба классов. М.-Л., 1933. Вып. 2. С. 344.
37. *Покровский М.Н.* Русская история с древнейших времен. М., 1933. Т. 3. С. 198.
38. Цит. по: *Геллер М., Некрич А.* Указ. соч. С. 167.
39. См.: *Третъяков С.* Откуда и куда? // ЛЕФ. 1923. № 1. С. 195.
40. Цит. по: *Артизов А.Л.* Критика М.Н.Покровского и его школы (К истории вопроса) // История СССР. 1991. № 1. С. 106.
41. *Третъяков С.* Указ. соч. С. 202.
42. См.: Историк-марксист. 1930. № 15. С. 76.
43. *Покровский М.Н.* Историзм и современность в программах школы 2 ступени. М., 1927. С. 12.
44. Комсомольская правда. 1926. 11 апреля.
45. Там же. 1933. 1 апреля.
46. *Покровский М.Н.* Русская история в самом сжатом виде. М., 1925. С. 55.
47. Он же. Русская история с древнейших времен... Т. 3. С. 192—193, 198.
48. Цит. по: *Кожин В.В.* Судьба России. М., 1990. С. 102.
49. Комсомольская правда. 1926. 14 февраля.
50. Известия. 1926. 8 января.
51. Там же.
52. См.: *Лимонов Ю.А.* Празднества Великой Французской революции в 1789-1793 гг. и новые празднества Советской России в 1917-20-х гг. // Великая Французская революция: Альманах. М., 1989. С. 394-395.
53. Комсомольская правда. 1934. 28 сентября.
54. См.: *Плагченборг Ш.* Революция и культура. СПб., 2000. С. 53.
55. Комсомольская правда. 1925. 1 декабря.
56. Там же. 1928. 25 декабря; 1926. 24 декабря.
57. Там же. 1928. 25 декабря.
58. *Хардт М., Негри А.* Указ. соч. С. 111.

59. Геллер М., Некрич А. Указ. соч. С. 260-261. Вот что писал об этом Э. Морен: «Исторический гений Сталина заключается в том, что он совершил интеграцию социализм-нация, одновременно создав религиозную марксократическую власть, аналог власти теократической: и та, и другая являются держателями абсолютной Истины, Авторитета... Сталин понимал значение идей, мифа, контроля за коммуникацией, манипулирования информацией, в то время как марксизм, замкнувшийся на «производительных силах», был и продолжает оставаться совершенно несостоятельным в этих областях» (Морен Э. О природе СССР: Тоталитарный комплекс и новая империя. М., 1995. С. 90, 122).
60. См., например: Комсомольская правда. 1934. 10 июня.
61. См.: Правда. 1928. 25 октября; Покровский М.Н. Империалистическая война. М., 1934. С. 70.
62. Большевик. 1934. № 13-14. С. 1-2; Комсомольская правда. 1934. 10 июля.
63. Комсомольская правда. 1934. 19 июля.
64. Устрялов Н. В борьбе за Россию. Харбин. 1920. С. 36.